

The background of the entire image is a complex, abstract composition of numerous thin, elongated streaks of light. These streaks are primarily in shades of deep blue and cyan, with some warmer orange and yellow tones interspersed, particularly towards the center and upper right. The streaks appear to be moving rapidly, creating a sense of intense energy and motion, similar to a high-speed camera capturing a cosmic event or a digital data burst. The overall effect is one of a dynamic, almost chaotic, yet structured visual field.

Петр Сойфер

Post scriptum

Петр Сойфер

Post scriptum

«Автор»

2026

Сойфер П.

Post scriptum / П. Сойфер — «Автор», 2026

Семь писем, написанных в последние минуты перед чертой. Подросток на крыше в Ванкувере. Документалист в Берлине, разучившийся доверять. Предприниматель за рулём на обледенелой трассе Мичигана. Реставратор из Торонто, потерявший всё. Профессор на пороге смерти в Лондоне. Одиноким учитель в Лионе. Историк, подводящий итог восьмидесяти пяти годам в Бостоне. Каждый пишет тому, кого любит больше всего, — и в процессе письма меняется сам. «Post Scriptum» — не книга о смерти. Это семь голосов, честно застигнутых в секунду, когда решение ещё можно отменить — или когда его больше нельзя избежать. Книга разведена на две неравные половины: кризис, который лжёт о своей вечности, и достоинство перед неизбежным, — и никогда не путает одно с другим. Доктор Пётр Сойфер, психиатр и психотерапевт, соединяет клиническую точность с писательской эмпатией. Для тех, кто не боится смотреть в темноту, чтобы лучше понять свет.

© Сойфер П., 2026

© Автор, 2026

Петр Сойфер

Post scriptum

POST SCRIPTUM

Сборник новелл

Доктор Пётр Сойфер

ЧАСТЬ I

На грани

Шум падающих листьев

I. Письмо из дождливого октября

Мэй, если ты когда-нибудь это прочитаешь — не в пять часов, когда я обещал прийти и объяснить уравнения с двумя неизвестными, а позже, гораздо позже, — знай, что я пишу это не для того, чтобы ты меня простила. Прощение — слишком крупная вещь для того, что я собираюсь сделать. Я пишу, потому что если не запишу, всё это так и останется просто шумом в голове, а шум нельзя оставить кому-то на память.

Помнишь, как в детстве мы каждое воскресенье ходили с бабушкой — не той, что в Гонконге, а маминой мамой, пока она была ещё жива, — в парк Стэнли кормить уток? Ты была совсем маленькой, едва держалась на ногах по гравийной дорожке, а я держал пакет с чёрствым хлебом и разрешал тебе бросать первой, потому что старший брат должен уступать. Бабушка рассказывала истории про деревья — что кедром, которые растут в парке, по несколько сотен лет, что они видели город ещё до того, как он стал городом, и что если приложить ладонь к коре достаточно надолго, можно почувствовать, как медленно, но упрямо дерево продолжает расти, даже зимой, даже под дождём. Я всегда любил эту мысль — что рост может происходить незаметно, без драмы, просто потому что дерево не умеет иначе.

Начну с погоды, потому что с неё, кажется, началось всё остальное. В Ванкувере октябрь пахнет мокрой корой и океаном одновременно — можно стоять на автобусной остановке на Кордова-стрит и через квартал чувствовать солёный ветер с залива, а через два — хвою кедров в парке Стэнли. Я всегда любил этот запах. Отец говорит, что любовь к погоде — это признак несерьёзного ума, что взрослый человек должен любить результаты, а не атмосферу. Он инженер, у него в голове всё разложено на допуски и нагрузки, и, кажется, он до сих пор не простил меня за то, что я родился не такой конструкцией, как рассчитывал.

Мне было десять, когда отец в первый и единственный раз взял меня на объект — не в офис, а прямо на стройплощадку, где его бригада монтировала перекрытия нового складского комплекса в Ричмонде. Он выдал мне каску на два размера больше нужного и полчаса водил вдоль опалубки, показывая, как рассчитывается нагрузка на балку, как один неверный допуск на миллиметр может через десять лет обрушить целый пролёт. Я тогда слушал его с восторгом, какого не испытывал ни на одном уроке в школе, и думал, что вот оно, наконец — то самое время вдвоём, которого мне вечно не хватало. На обратном пути в машине я спросил, стану ли я тоже инженером. Он посмотрел на дорогу, не на меня, и сказал: «Посмотрим, есть ли у тебя допуск». Тогда я не понял шутку — если это была шутка. Сейчас понимаю слишком хорошо.

Сегодня утром шёл дождь — не тот ливень, что все ненавидят, а мелкая морось, от которой мир становится мягче, будто кто-то снял с города резкость. В школу я шёл пешком, хотя автобус останавливается в двух минутах от дома, — нужны были эти двадцать минут, не для

мыслей, а именно чтобы их не было. Телефон вибрировал в кармане куртки с семи сорока утра. Не смотрел. Знал.

Знал, потому что вчера вечером один из моих одноклассников — не буду называть его имя, оно неважно, оно уже почти стёрлось у меня из памяти, как стирается имя актёра в фильме, который смотрел давно, — выложил в школьный чат скриншоты моей переписки с Алекс. Не той переписки, которую можно показать родителям за ужином. Той, где я писал вещи, которые пишешь только одному человеку и только потому, что веришь: дальше него это не пойдёт. Пошло. К переписке приложили фотографию — не постановочную, случайную, снятую явно без моего ведома в раздевалке, — и подписали её так, что я не буду это здесь повторять, потому что это уже не мои слова, это чужая грязь, которую я по какой-то причине ношу теперь как свою.

Мы с Алекс переписывались три месяца, с конца июля, когда пересеклись на летних курсах по искусству в общественном центре. Она рисует лучше всех, кого я знаю, — не технически правильно, а с каким-то ощущением цвета, будто видит мир на полтона ярче, чем остальные. В переписке я писал ей вещи, которые никогда не сказал бы вслух: что боюсь однажды проснуться и обнаружить, что я и есть тот бракованный проект, о котором говорит отец, что иногда мне физически больно от того, как редко меня в этом доме спрашивают, что я чувствую, а не что я сделал. Она отвечала мне длинными голосовыми, в которых слышно, как она грызёт ручку от волнения, объясняя мне, что я не бракованный, что просто мой отец меряет любовь линейкой, которой нельзя измерить человека.

Кто-то — я до сих пор не знаю точно, кто, взломал её телефон или она сама кому-то показала по глупости — собрал сорок скриншотов этой переписки в один альбом и разослал его в общий чат класса с подписью, которая превратила самое честное, что я когда-либо говорил вслух хоть кому-то, в повод для утренних смешков у шкафчиков. К десяти утра меня в чате называли по-новому. Не Кай. Другое слово. Оно приклеилось быстрее, чем успевает высохнуть краска.

Мама сказала бы — дуккха, Кай, это страдание, оно временно, оно иллюзорно, отпусти привязанность к тому, что о тебе думают другие. Она произносит это с той же интонацией, с которой произносит рецепт супа: спокойно, без сомнения, как будто формула уже сама по себе является лекарством. Может быть, для неё так и есть. Она молится по утрам, зажигает благовония на маленьком алтаре в углу гостиной, и мне всегда казалось, что она делает это не столько для будды, сколько для того, чтобы не видеть отца, который в это время уже сидит за ноутбуком, не поднимая головы.

Помню, как в двенадцать лет я разрыдался после того, как мальчишки постарше отобрали у меня велосипед у школы и толкнули в лужу на глазах у всего двора. Я пришёл домой весь мокрый, с разбитой в кровь ладонью, и мама, вместо того чтобы обнять, усадила меня напротив себя на татами и сказала: слёзы — это привязанность эго к образу себя, которого унизили; отпусти образ, и унижения не станет. Я помню, как хотел закричать ей, что мне не нужна философия, мне нужно, чтобы кто-то просто сказал «это плохо, что с тобой так поступили», — но я не закричал, потому что в нашем доме крик считался признаком несобранного ума. Я просто кивнул, вытер лицо рукавом и пошёл в свою комнату разбираться с ладонью самостоятельно.

На алтаре у мамы стоит маленькая бронзовая статуя Гуаньинь, богини милосердия, — она привезла её из Гонконга, когда мы ездили туда на похороны бабушки пять лет назад. Мама говорит, что Гуаньинь слышит крики всех живых существ одновременно, и что именно поэтому её иногда изображают с тысячей рук — по одной на каждый крик, который нужно услышать. Я часто думал, глядя на эту статую по утрам, слышит ли она и мои крики тоже, или у неё, как и у моих родителей, не хватает рук на ещё одного ребёнка с ещё одной проблемой.

На похоронах бабушки в Гонконге, когда мне было десять, а тебе шесть, я впервые увидел отца плачущим — коротко, украдкой, отвернувшись к окну гостиничного номера, думая, что

никто не видит. Я тогда не подошёл, потому что не знал, что делать с отцом, у которого по щеке катится слеза, — вся моя жизнь до этого момента учила меня, что у него для каждой ситуации готово решение, а не эмоция. Сейчас, вспоминая ту сцену, я думаю, что где-то в отце всё-таки живёт тот же самый океан, что и во мне, просто он давно научился держать его за плотину из графиков и допусков, и я не знаю, сломается ли когда-нибудь эта плотина при мне ещё раз.

Я никогда не рассказывал тебе, Мэй, что отец сказал мне в марте, когда я не поступил в углублённый поток по математике, хотя все были уверены, что поступлю. Он не кричал. Он вообще редко кричит, и это страшнее крика. Он сказал: «Есть версии людей, которые работают, и есть бракованные версии. Ты не первая». Не первая — потому что до меня были другие проекты, другие сотрудники, другие сборочные линии, забракованные им за срок, который у него уходит на утренний кофе. Я стоял тогда в коридоре и думал: если я деталь, то где гарантийный талон, по которому меня можно вернуть?

Тебе он никогда так не говорил. Тебе одиннадцать, ты ещё в том возрасте, когда родители авансом верят в результат. У меня этот аванс кончился где-то в тринадцать.

Дедушка, папин отец, приехал в Ванкувер из Гонконга в семьдесят девятом с одним чемоданом и знанием трёх фраз по-английски. Он работал на рыбном рынке пятнадцать лет, потом открыл собственную прачечную, и к тому моменту, как я родился, успел стать человеком, о котором в семье говорят с придыханием — тем самым, кто «сделал всё с нуля». Отец вырос под этим рассказом, как под вечным потолком, который нужно было либо пробить, либо остаться навсегда придавленным им. Я думаю иногда, что отец меряет меня не своей линейкой, а дедушкиной, той самой, где единственная приемлемая траектория — вверх, без пауз, без права на пробуксовку. Дедушка умер, когда мне было шесть, я его почти не помню — помню только запах крахмала и чужого мыла, когда он брал меня на руки. Может быть, если бы я помнил его лучше, я бы понял отца лучше тоже. А может, и нет.

Школьный день сегодня был длинным ровно настолько, насколько может быть длинным день, когда каждый твой шаг по коридору сопровождается взглядами, в которых читается не сочувствие, а любопытство — тем особым голодным любопытством, с которым смотрят на аварию на дороге. Никто не подошёл спросить, как я. Двое подошли сфотографировать меня украдкой на перемене, думая, что я не замечу. Заметил всё до последней мелочи. Обострилось в тот день, кажется, всё сразу — звуки в столовой стали слишком громкими, свет в кабинете физики слишком белым, запах чужого парфюма в лифте слишком плотным, будто кто-то снял с меня кожу, а вместе с ней и защиту от мира.

Первым уроком была алгебра — тот самый предмет, где я обычно поднимаю руку раньше всех, — и мисс Ричардсон вызвала меня к доске решать систему уравнений. Я стоял с маркером в руке, и все сорок минут показались мне бесконечными, потому что за моей спиной кто-то тихо, но так, чтобы я слышал, прошептал новое слово, которым меня называли в чате, и весь класс беззвучно затрясся от смеха, а мисс Ричардсон, повернувшись к доске проверять решение, ничего не заметила. На физкультуре в раздевалке я переодевался в кабинке, хотя раньше никогда этого не делал, потому что не мог видеть, как парни у соседних шкафчиков переглядываются, стоит мне снять футболку. В столовой я сел за стол один, хотя обычно сидел с Джейсоном и Ноа, — не потому что они меня отвергли, а потому что не знал, как смотреть им в глаза, зная, что они уже видели фотографию, и боясь увидеть в их взглядах то же голодное любопытство, что и у остальных.

Хуже всего было в перерыве между шестым и седьмым уроком, когда Алекс прошла мимо меня по коридору, опустив глаза, ни разу не посмотрев в мою сторону. Я не виню её. Ей, наверное, тоже прилетело — за то, что вообще переписывалась со мной так, как переписывалась. Но в тот момент, когда её плечо почти задело моё, а взгляд так и не поднялся, я почувствовал, что теряю не только репутацию, — теряю единственного человека вне семьи, с которым за последние полгода чувствовал себя не бракованной деталью, а просто собой.

После шестого урока я не пошёл на автобус — пошёл в сторону даунтауна пешком, хотя это почти час ходьбы: каждая минута движения была минутой, в которую не нужно было сидеть неподвижно и думать. Шёл вдоль Фолс-Крика, мимо марины, где яхты покачивались на серой воде, мимо велосипедистов в дождевиках, мимо кофейни, откуда пахло корицей так сильно, что на секунду захотелось просто зайти и сесть, будто ничего не произошло. Не зашёл. У моста Кэмби остановился и долго смотрел вниз, на воду, которая в тот день была цвета грифеля, — думал тогда не о прыжке, а просто о том, как странно, что вода может быть такой же серой, как небо, будто между ними стёрлась граница.

Тот жилой комплекс, сорок пять этажей, я проходил мимо него сотню раз по дороге к репетитору по математике и никогда не думал, зачем в принципе на крыши таких зданий пускают людей смотреть на закат. Оказалось, пускают. Служебный выход на техническую площадку, замок на щеколде, который открывается снаружи проще, чем должен бы, — я узнал об этом случайно, полгода назад, когда мы с Джейсоном пробрались туда сфотографировать закат для его инстаграма. Тогда это было приключением. Сегодня это стало дверью.

Шёл туда не как к решению — хотел на два часа перестать быть тем, кем меня называли в чате. А там, наверху, в тумане, где город становится просто скоплением огней, а не местом, где у тебя есть имя, — там, кажется, можно ненадолго стать никем.

Только потом, уже стоя у края, я понял разницу между «стать никем на два часа» и «стать никем навсегда». Мама называет это шуньтой — пустотой, из которой рождается свобода от привязанностей. Я долго убеждал себя, что если исчезнуть полностью, то боль тоже исчезнет полностью, — красивая арифметика, если не думать дальше первого действия.

Помнишь тот вечер два года назад, когда у тебя не получалась задача про периметр и площадь, а мама с папой были на родительском собрании у тебя в школе, и я просидел с тобой за кухонным столом два часа, пока ты наконец не поняла, почему периметр и площадь — это не одно и то же? Ты тогда сказала: «Кай, ты объясняешь лучше любой учительницы». Я хранил эту фразу где-то внутри всю неделю, доставал её, как монету из кармана, каждый раз, когда отец говорил что-то про бракованные версии. Сегодня, идя к даунтауну, я не доставал эту монету ни разу. Забыл, что она вообще есть.

Я не хочу, чтобы ты искала логику в том, что случилось дальше. Логика не было. Была усталость, огромная, как океан за окном нашей квартиры, и было ощущение, что весь мир сжался до размеров школьного чата с сорока именами в нём. Весь мир. Хотя ты, Мэй, была в этом мире. И почему-то в ту секунду, когда я шагнул на техническую площадку, я тебя не вспомнил. Вспомнил только позже — там, наверху, когда вспоминать было почти поздно.

Я расскажу тебе, что было дальше. Но сперва мне нужно расспросить самого себя — по-настоящему, без скидок, — потому что если я не отвечу честно хотя бы себе, то это письмо будет ложью, а я не хочу оставлять тебе ложь вместо брата.

II. Диалог с тенью

Наверху было тише, чем я думал. Не тихо совсем — ветер на такой высоте не затихает никогда, — но тише, чем внизу, где всегда есть подложка из машин, голосов, чужой музыки из окон. Здесь звук был один: ровный, широкий гул воздуха, который обтекает здание, словно оно — камень посреди реки.

Я сел спиной к вентиляционной будке, потому что стоять было ещё рано, и в этой паузе, ещё до самого края, во мне заговорил кто-то — не голос извне, а какая-то моя собственная часть, более трезвая, чем та, что привела меня сюда. Она задавала вопросы так, точно у неё было право их задавать. Может быть, право у неё и было: в конце концов, это была всё ещё я, просто та версия меня, которая не обиделась на весь мир сегодня утром.

— Что именно ты пытаешься уничтожить, — спросила она, — своё существование или конкретную ситуацию?

Я хотел ответить сразу: существование, конечно, о чём вообще вопрос, — но что-то во мне запнулось. Потому что если честно, по-настоящему честно, то я вспомнил вкус жареного тофу с чили, который готовит мама по субботам, и то, как этот вкус обжигает язык ровно настолько, чтобы захотеть ещё кусок. Вспомнил туман над заливом Инглиш-Бэй утром, когда он лежит на воде как одеяло, которое кто-то забыл убрать. Я люблю жизнь. Не абстрактно — конкретно, вкусом, запахом, температурой. Значит, то, что я хочу уничтожить, — не жизнь как таковая. Это сегодняшний день. Это чат. Это слово, которым меня назвали. Это стыд, который занял в моей голове столько места, что для остального почти не осталось воздуха. Но я перепутал одно с другим, как путают жар в комнате с жаром во всём доме, и решил потушить не комнату, а дом целиком.

Тень не удовлетворилась первым ответом. — Если бы кто-то волшебным образом стёр сегодняшний чат из памяти всей школы прямо сейчас, — спросила она, — ты бы спустился с крыши?

Почти не колебался. Да. Конечно да. Сбежал бы вниз, в тёплую квартиру, к запаху маминного супа, и никогда больше не поднялся бы сюда. Значит, дело не во мне. Дело в сорока двух телефонах, в которых лежит скриншот. Странно было понимать это настолько ясно и всё равно продолжать стоять здесь — тело словно ещё не получило сообщение, которое уже получила голова.

— Хорошо, — сказала тень, не давая мне долго сидеть с этим ответом. — Сколько людей на самом деле вовлечено в твой стыд?

Весь мир, хотел сказать я. Но начал считать, потому что тень умела заставлять считать, а не чувствовать. В чате состоит весь наш класс — тридцать два человека. Плюс параллельный класс, с которым мы иногда пересекаемся, — ещё человек десять. Итого сорок два. Сорок два человека из восьми миллиардов на планете. Сорок два человека, из которых, если честно, я через год буду помнить имена от силы пяти. Остальные тридцать семь для меня уже сейчас, спустя один-единственный день, начинают стираться, как стираются лица случайных пассажиров в метро. И если я сам не помню три четверти своих одноклассников по именам через год после выпуска — с чего я взял, что они будут помнить это про меня дольше пары недель? У людей короткая память на чужой позор. Она долгая только на свой собственный.

Я вспомнил тогда, как в сентябре весь класс две недели обсуждал, что у Брендона родители разводятся — шептались по углам, строили теории, а потом в один день просто перестали, потому что кто-то принёс в школу вейп и попался завучу, и это стало новой темой на следующие две недели. Драма Брендона не решилась. Она просто перестала быть интересной. Моя, наверное, устроена не иначе.

— Хорошо, — снова сказала тень, и в этом «хорошо» была какая-то безжалостная методичность, будто она пункт за пунктом закрывала галочки в списке, который я сам не решался составить. — Какова роль идеи о «пустоте» и «непривязанности» во всём этом?

Тут я замолчал дольше — мама всю жизнь учила меня, что дуккха и шуньята не про отчаяние, а про свободу. Про то, что цепляться за форму — источник страдания, а увидеть пустоту формы — источник освобождения. Я весь день повторял эти слова про себя как обезболивающее. Если ничего не имеет значения — то и снять эту одежду раньше срока не так уж и страшно, да?

Я вспомнил, как мама однажды, мне было лет девять, показала мне на кухне простой опыт: взяла кусок льда и положила на горячую сковороду. Лёд зашипел, задымился и через минуту исчез — не умер, объяснила она, а стал паром, который поднялся к потолку и растворился в воздухе комнаты, ещё существуя, просто в другой форме. «Вот что такое шуньята, — сказала она тогда. — Форма меняется, суть не исчезает». Она рассказывала это, чтобы объяснить смерть бабушкиной золотой рыбки, а не чтобы дать мне инструкцию для крыши сорок

пятого этажа. Урок о постоянстве сути я вывернул в разрешение уничтожить форму раньше срока — точно это она меня учила, а не я сам себя обманул.

Неверно. Понял это, задав себе вопрос честно: пользуюсь ли я буддизмом, чтобы понять реальность, или чтобы оправдать побег от неё? Ответ был так себе. Мама двадцать лет разбиралась в этом через практику, через боль, а я просто взял слово и наклеил его на то, что хотел сделать, чтобы стало не так стрёмно. Шуньята вообще не про «жизнь не важна». Она про то, что цепляться за форму больно, а не про то, что можно просто её сбросить, когда надоело. Перепутал одно с другим. Вот и всё.

— Тебе дали депозит в восемьдесят лет, — сказала тень, и в этом вопросе было что-то от отцовской манеры считать всё в цифрах и сроках, хотя тень задавала его мягче, чем задал бы отец, — а ты возвращаешь чек на пятнадцатой странице. Что ты не попробовал?

Список выстроился сам, без усилия, словно ждал своей очереди всё это время. Не был в Токио, хотя обещал себе съездить туда после школы — увидеть неоновые вывески Синдзюку своими глазами, а не через экран. Не влюблялся по-настоящему — то, что было с Алекс, было первой попыткой, неуклюжей, обречённой на провал, но я даже не узнал, что чувствуют, когда любят кого-то дольше трёх месяцев. Я не видел, как ты, Мэй, вырастешь. Не видел твоего выпускного, твоей первой любви, твоей первой большой обиды на мир, в которой я мог бы быть тем, кто сидит рядом и говорит: я знаю, было тяжело, но это пройдёт. Я не узнал, каким становится отец, когда его дети наконец вырастают достаточно, чтобы он перестал их контролировать, — может быть, он бы смягчился. Может быть, нет. Но я не узнал.

Я не узнал, как звучит собственный голос, когда объясняешь что-то, что действительно любишь, — не уравнивая ради оценки, а идею, за которую держишься сам, для себя. Не узнал, каково это — впервые заплатить за что-то своими деньгами, заработанными своими руками, а не карманными от отца. Не узнал вкуса соли на губах после первого настоящего шторма где-нибудь в открытом океане, о котором столько раз рассказывал дедушка перед тем, как уехать из Гонконга. Список рос быстрее, чем я успевал его проговаривать — пятнадцать лет вдруг оказались как будто не итогом, а всего лишь черновиком, который я собирался сдать за окончательный.

Пятнадцать страниц из восьмидесяти лет — а я держал в руках чек на всю оставшуюся книгу и собирался порвать его, даже не прочитав ни строчки дальше.

— Кому адресована смерть, — спросила тень, и в этом вопросе звучало что-то жёстче предыдущих, — это любовь или месть?

Не хотел отвечать на этот вопрос — часть меня — та часть, что весь день сидела в столовой под чужими взглядами, — хотела, чтобы все, кто смеялся, почувствовали вину. Хотела, чтобы имя того, кто выложил переписку, стало известно всей школе как имя того, из-за кого. Хотела наказать. Но здесь, наверху, эта фантазия развалилась при первом честном взгляде на неё. Меня похоронят, все погрустят неделю, кто-то напишет пост с чёрно-белой фотографией, соберут донаты на благотворительность имени меня — а через месяц будут смеяться в столовой над чем-то новым, потому что жизнь других людей не останавливается там, где останавливается моя. Не накажу никого. Просто исчезну, и мир закроет за мной дверь так же спокойно, как закрывает её за осенним листом, упавшим с дерева. Шум падающих листьев никто не запоминает.

Но тут ещё вот что. Даже если бы месть сработала — это всё равно значило бы, что последнее слово в моей жизни осталось за ними. За теми, кого я вообще-то презираю. Как будто я согласился, что они имеют право решать, кто я такой. А я не хочу, чтобы сорок два случайных придурка стали последней строчкой в истории про меня. Хочу сам её написать.

— Если твои родители считали тебя никчёмным, — сказала тень, и здесь голос внутри меня впервые дрогнул, будто даже эта трезвая моя часть боялась задавать этот вопрос напрямую, — но в тебя верила сестра — почему ты поверил врагам, а не ей?

Вот тут что-то сломалось не в голосе, а во мне самом. До этой секунды я думал, что весь мой стыд — это про меня самого, про то, какой я никчёмный, бракованный, неудачная версия. А этот вопрос повернул всё зеркало на сто восемьдесят градусов. Ты, Мэй, единственная в нашей семье, кто никогда не смотрел на меня как на проект, требующий доработки. Ты держала меня за руку в метро на прошлой неделе и говорила «Кай, не отпускай», а я смотрел в телефон. Не ответил тебе тогда — был занят тем, что читал сообщения от людей, которые меня презирают, вместо того чтобы почувствовать руку человека, который меня любит.

Если я шагну с этой крыши, я не накажу отца — он превратит даже это горе в ещё одну историю о том, как несправедливо жизнь обошлась с ним, с его инвестициями, с его надеждами. Не накажу тех сорок два человека — они забудут раньше, чем ты успеешь прочитать моё письмо во второй раз. Единственный человек, с которым это произойдёт по-настоящему, окончательно, без права на пересмотр, — это ты. Единственный человек, которого я предаю, если сделаю этот шаг, — тот, кто в меня верил безусловно. Стыд ослепил меня настолько, что я готов был поверить сорока двум чужим людям в чате больше, чем одной сестре, которая держала меня за руку и просила не отпускать.

Я вспомнил ещё одно: тебе семь, я одиннадцать, и мы вдвоём стоим на пляже в Кицилано, и ты боишься зайти в воду дальше колена, потому что накануне тебе приснилась акула. Я тогда взял тебя за руку — той же рукой, которая сейчас мёрзнет на бетоне сорок пятого этажа, — и сказал: «Я иду первым, смотри на меня, если акула появится, я увижу её раньше тебя». Акулы, конечно, не было. Но ты зашла в воду по пояс, держась за мою руку, впервые в жизни без слёз. Кто будет первым заходить в воду для тебя, если меня не станет? Отец никогда не заходил в воду вместе с нами — он стоял на берегу с телефоном, фотографируя, чтобы потом показать коллегам, какой у него активный отдых с детьми.

— Кем ты был бы, — спросила тень чуть раньше, ещё до вопроса про Алекс, — если бы родился не в этой семье, а в любой другой, где никто не мерил бы тебя ни допусками, ни сутрами?

Не смог сразу ответить — вопрос требовал вообразить версию себя, которая никогда не существовала. Но чем дольше я сидел с ним, тем яснее понимал: не хочу другую семью. Хочу эту же самую, только чтобы в ней научились слышать меня, а не измерять. Отец не злодей — он человек, выросший под тенью дедушкиного чемодана с одним костюмом и верой, что упорство решает всё, и он передал мне единственный язык любви, который знает, — язык результата. Мама не бесчувственна — она несёт традицию, которая помогла ей самой пережить собственную юность, полную вещей, о которых она никогда не рассказывала подробно. Быть тут, вторым поколением, — это как стоять между дедушкиным чемоданом и телефоном, который не задыхается. И никто не дал мне инструкцию, как между ними жить.

— А что насчёт Алекс, — спросила тень, и в этом вопросе не было той методичности, что в остальных, будто даже она осторожничала здесь. — Ты злишься на неё?

Я думал, что должен злиться. Это она отправляла те сообщения, это на её телефоне, украденном или взломанном — я так и не узнал точно, как, — оказался наш разговор. Но, сидя там, наверху, я понял, что не могу найти в себе злость, только что-то похожее на грусть за нас обоих: за неё, которая теперь тоже, наверное, идёт по школьным коридорам под чужими взглядами, и за себя, потерявшего единственного человека, с которым делился настоящим, а не отредактированной версией себя. Возможно, повзрослев, я пойму, что было проще злиться. Пятнадцать лет — не тот возраст, когда умеешь злиться правильно; злость либо взрывается наружу, либо загорается внутри, и я, кажется, весь день горел внутри.

— Что бы сказал тебе двадцатипятилетний Кай, — спросила тень, уже мягче, будто зная, что до конца вопросов осталось немного, — сидящий в кофейне в Монреале?

Я представил его отчётливо, как будто уже видел эту сцену где-то. Он старше, спокойнее, у него на пальце чернильное пятно, потому что он всё ещё что-то записывает от руки, несмотря

на все свои телефоны и ноутбуки. Он бы посмотрел на меня пятнадцатилетнего с той усталой нежностью, с которой смотрят на младшего брата, наделавшего глупостей, и сказал бы что-то вроде: потерпи пару месяцев. Это просто плохая глава в самом начале книги. Плохие главы случаются у всех, кто потом пишет хорошие книги. Никто не помнит первую главу, если вся книга получилась.

Я представил его квартиру — маленькую, с видом на снежную улицу, с растениями на подоконнике, за которыми он забывает ухаживать, и с фотографией на холодильнике, где мы с тобой, Мэй, уже взрослые, стоим обнявшись на каком-то мосту, смеясь над чем-то, что я, пятнадцатилетний, никогда не узнаю. Двдцатипятилетний Кай, наверное, уже забыл имя того, кто сделал первый скриншот. Может быть, даже забыл название той школы. Но помнит, кажется, именно этот вечер — не как трагедию, а как ночь, когда чуть не совершил самую большую ошибку в жизни и в последнюю секунду её не совершил. Помнит её так, как помнят старый шрам — не больно, просто он есть. Напоминание, что тело в тот раз выбрало жить, хотя голова уже почти сказала «всё».

— И последний вопрос, — сказала тень. — Если бы ты мог нажать кнопку «отмена» прямо сейчас — ты бы нажал?

Да. Без колебаний. Да.

Я сидел там, у вентиляционной будки, с этим «да» внутри, звеневшим так громко, что заглушал ветер, и думал: значит, всё решено, значит, сейчас я встану и пойду обратно к лифту, и это будет просто история, которую я расскажу тебе через годы за ужином, посмеиваясь над тем, каким глупым я был в пятнадцать. Я не знал тогда, что между «да, я бы нажал кнопку отмены» и настоящей отменой — целая пропасть, которую ещё нужно перейти, и что ноги иногда решают быстрее, чем успевает решить голова, которая уже всё решила правильно.

III. Год спустя

После восьмого вопроса тень не ушла. Она осталась, но сменила тон — из допроса стала чем-то вроде тихого кино, которое начали крутить прямо перед моими глазами без моего разрешения. Смотреть я не выбирал — оно просто началось, будто мозг, получив от меня признание «да, я бы нажал кнопку отмены», решил показать мне, ради чего вообще стоило бы её нажимать.

Ноябрь. Не этот, следующий. Школьный чат, тот самый, где меня называли новым именем, давно переключился на другую драму — кто-то из десятого класса разбил отцовскую машину, кто-то поймал родителей на измене через семейный аккаунт в облаке, кто-то выложил рэп-трек с оскорблениями учителя физкультуры. Скриншоты моей переписки, казавшиеся в октябре центром вселенной, стали архивной пылью, на которую никто уже не ссылается, потому что новый скандал всегда интереснее старого. Я иду по тому же коридору, мимо тех же шкафчиков, и никто больше не фотографирует меня украдкой. Не потому, что меня простили, — потому что забыли. И это, оказывается, работает даже лучше прощения: никто не должен признавать, что был не прав. Просто всем стало пофиг.

Даже Джейсон, который в те первые недели не знал, как со мной разговаривать, однажды весной просто сел напротив меня за обедом, как будто ничего не случилось, и начал рассказывать про новую игру, в которую залип на выходных. Мы не обсуждали чат. Мы никогда его не обсуждали — ни тогда, ни позже. Оказалось, для того чтобы дружба снова заработала, не обязательно всё проговаривать. Иногда достаточно просто сесть рядом.

Дальше, ещё через несколько месяцев, — разговор с мамой на кухне, тот, которого я так боялся, что откладывал его месяцами. Не крик, не драма. Мама сидит напротив меня с чашкой чая и говорит, что отец получил предложение работы в Калгари, и что, может быть, нам всем стоит уехать — начать там, где никто не знает ни про какой чат, ни про какие скриншоты. Шестнадцать лет — тот возраст, когда переезд ещё не катастрофа, а почти приключение. Новая

школа, где я — просто новый парень с историей, о которой никто не спрашивает, потому что её никто не знает.

В этом воображаемом году я вижу себя за столом в чужой на первый взгляд, но постепенно становящейся своей квартире, склонившимся над учебником по математике — не потому, что кто-то заставил, а потому, что я сам решил разобраться с тем потоком, который срезал меня на экзамене прошлой весной. Не поступил в углублённый класс — и что? Переждал через год. Оказалось, что мир не выставляет тебе одну попытку и захлопывает дверь. Мир выставляет попытки почти бесконечно, если ты сам не решишь закрыть дверь раньше него.

Я вижу тебя, Мэй, на год старше, всё ещё приходящую ко мне с домашкой по математике, потому что я всё ещё лучше объясняю уравнения, чем любой репетитор. Вижу, как ты рассказываешь про мальчика из своего класса, который тебе нравится, и я, вместо того чтобы читать очередное сообщение в телефоне, слушаю тебя целиком, обеими ушами, потому что я наконец понял цену того, чтобы слушать людей, которые тебя любят, пока они рядом.

Отец в этом году не стал другим человеком — люди редко меняются так быстро и так удобно, как хочется в кино. Но однажды вечером, когда я показал ему исправленную оценку по математике, он посмотрел на неё дольше, чем требовалось, и сказал «неплохо» — два слога, без улыбки, без объятий, но это было больше, чем «бракованная версия», и в тот момент я понял, что не всякое признание приходит в той форме, в какой ты его ждёшь. Иногда его нужно услышать в том, что есть, а не оплакивать то, чего нет.

В этом же видении был ещё один вечер, зимний, калгарийский, минус двадцать за окном, и мы вчетвером сидим за одним столом дольше, чем обычно, потому что переезд каким-то образом заставил родителей чаще оставаться дома вместо работы допоздна. Мама рассказывает, смеясь, как перепутала в супермаркете кленовый сироп с соевым соусом, и отец — впервые за много лет — смеётся вместе с ней, не сдержанно, а по-настоящему, запрокинув голову. Ты толкаешь меня локтем под столом и одними губами говоришь: «видел это?» — и я киваю, потому что тоже вижу, и потому что мы оба знаем, каким редким гостем в нашем доме бывает этот смех.

Я представил себе и худшее — как если бы отец так и не сказал «неплохо», как если бы Калгари не случился, как если бы всё осталось ровно таким же, каким было сегодня утром. Даже в этом, самом мрачном варианте будущего, тень не смогла показать мне ничего страшнее того, что я уже пережил за один этот октябрьский день. Худшее уже случилось. Дальше могло быть только иначе — не обязательно лучше сразу, но иначе, а иначе — это уже не тюрьма без двери.

Была в этом воображаемом годе и ещё одна сцена, случившаяся уже в Калгари, весной, на школьном дворе новой школы: девочка из параллельного класса, Ханна, спросившая меня, не хочу ли я после уроков сходить в кино, — не потому, что знала мою историю, а просто потому, что я показался ей интересным на уроке биологии, где мы вдвоём смеялись над неудачным экспериментом с дрожжами. Я не знаю, во что превратится это знакомство — тень не показала мне так далеко, — но само ощущение, что кто-то может заинтересоваться мной, ничего не зная про чат, про Алекс, про то слово, которым меня называли, было чем-то вроде первого глотка воздуха после того, как долго держал дыхание под водой.

Была ещё сцена в этом воображаемом будущем, через полтора года: в новой школе, в Калгари, замечаю парня младше меня, Итана, сидящего одного за обедом с телефоном, который он держит так, будто боится, что кто-то заметит, что он читает на экране. Я узнаю этот взгляд — тот самый, что был у меня в октябре, — и просто сажусь напротив, не спрашивая ничего, и говорю: «Плохой день?» Он не отвечает сразу. Но через неделю таких обедов рассказывает мне про чат в своей старой школе, откуда он тоже переехал, и я, вместо лекции про дуккху и непривязанность, просто говорю ему то, что хотел бы услышать сам той ночью: «Это пройдёт. Не потому что я знаю какую-то формулу. А потому что я был там же, где ты

сейчас, и вот я сижу здесь и ем сэндвич». Тень не показала мне, что стало с Итаном дальше. Но показала это утро с сэндвичем достаточно ясно, чтобы я понял: боль, через которую прошёл ты сам, иногда единственное, что позволяет разглядеть её в другом человеке раньше, чем она разрастётся до крыши.

И ещё одна картина, размытая по краям: я, семнадцать лет, впервые еду один, без родителей, на автобусе через полстраны — просто потому что смог накопить денег с летней подработки и захотел увидеть Скалистые горы своими глазами, а не через окно машины отца. Никто не разрешал мне эту поездку в смысле контроля — я просто сказал, что еду, и уехал, и вернулся через четыре дня с обгоревшим носом и ощущением, что моя жизнь наконец начала принадлежать мне, а не проекту, который оценивает отец.

Тень — или, может быть, уже не тень, а просто я сам, немного более взрослый, чем секунду назад, — показала мне ещё одну картину, дальше в будущем, размытую, как будто увиденную через мокрое стекло: я, старше, в аэропорту, с рюкзаком, летящий куда-то — может быть, в тот самый Токио, о котором мечтал. И рядом со мной, провожающая меня в этом видении, — ты, повзрослевшая, обнимающая меня перед выходом на посадку и говорящая что-то вроде «не пропадай там», с той же интонацией, с которой в детстве просила меня не отпускать твою руку в метро.

Дальше, гораздо дальше — размыто, будто тень уже начинала уставать держать это кино перед моими глазами, — мелькнуло письмо о зачислении в университет, распечатанное и приклеенное магнитом к холодильнику рядом с твоими рисунками, Мэй. Не самый престижный университет из тех, о которых мечтал отец для меня, но тот, где преподают именно ту программу по экологии океана, о которой я думал всё чаще с тех пор, как начал разбираться, откуда в заливе Инглиш-Бэй берётся мусор после шторма. Отец, помню это видение отчётливо, стоял у холодильника дольше обычного, читая письмо во второй раз, и произнёс не «неплохо», а нечто длиннее: «Я не понимаю, зачем тебе рыбы, но раз тебе не всё равно — узнай о них всё». Для человека, меряющего мир допусками и нагрузками, это было почти поэзией.

Вся эта воображаемая жизнь длилась в моей голове, наверное, не больше минуты реального времени, там, на крыше, под ветром, который не переставал толкать меня в грудь. Но за эту минуту я понял то, что раньше знал только теоретически: трагедия, которая с земли кажется вечной, с высоты одного года выглядит как эпизод. Не потому, что боль ненастоящая. Она настоящая, она обжигает, как обжигает мамино чили. Но у любой боли, даже самой острой, есть срок годности — и я едва не совершил ошибку, перепутав острую боль с пожизненным приговором.

IV. Возвращение

Кино закончилось так же внезапно, как началось, и я снова оказался там, где был, — на технической площадке, спиной к вентиляционной будке, с ветром, который не стал тише, пока я воображал себе другую жизнь. Встал. Ноги затекли от бетона, и это простое, глупое, физическое неудобство — то, что затекают ноги, — почему-то показалось мне убедительнее любого из восьми вопросов, которые я только что задал сам себе. Тело хотело жить настолько буднично, что даже не спрашивало разрешения у моих больших драматических мыслей о жизни и смерти. Оно просто хотело размять ноги.

Я подошёл к краю — не для того, чтобы шагнуть, а потому что весь вечер я стоял слишком далеко от него, боясь и одновременно желая увидеть город с этой высоты в последний раз, если уж я сюда забрался. Логика была странной, задним числом я понимаю, что логики уже почти не осталось, осталась только инерция вечера, который начался как побег, а не как решение.

...ветер здесь другой — он не просто дует, он толкает в грудь, как будто выгоняет обратно к лифту. Сорок пять этажей вниз машины похожи на маленьких блестящих жуков, если зажмуриться, то кажется, что это не дождь, а дисплей намокает. Почему пальцы такие холодные.

Сестра всегда говорила, что у меня горячие руки, когда я держал её за ладонь в метро — «Кай, не отпускай», — она сказала это в прошлый вторник, а я смотрел в телефон и не ответил. Господи, почему я не ответил.

Бетон крошится под левым кедом. Серый. Всё вокруг серое. Отец говорил «ты ничего не доводишь до конца» — вот, видишь, я на самой крыше, это конец? Нет, это не конец, это просто очень высоко. Если бы мама была здесь, она бы сказала, что всё это сансара, но у сансары запах мокрого асфальта и хвои. Внизу горит красная вывеска кофейни. Я хочу горячий шоколад. Почему я думал об этом в школьном туалете, когда они смеялись? Смех был такой громкий, а сейчас здесь только свист воздуха. Их имена уже выветрились. Я даже не помню лицо того, кто сделал первый скриншот. Он просто пиксель. Я собирался умереть из-за пикселя?

«Кай, смотри, там белка!» — её голос прямо в левом ухе. Мэй. Ей одиннадцать. Она ждёт меня в пять часов. Я обещал помочь с математикой. Если я шагну, кто покажет ей, как решать уравнения с двумя неизвестными? Неизвестное — это я.

Внизу проезжает автобус — тот самый маршрут, тридцать второй, которым я мог бы сегодня доехать до дома вместо того, чтобы идти пешком. Останавливается на светофоре, крошечный, жёлто-красный. Люди внутри едут куда-то по своим обычным делам. Ни один не знает, что надо мной, на высоте сорока пяти этажей. Дождь усиливается на пару секунд, потом снова стихает — небо словно тоже колеблется.

Край. Один сантиметр. Подошва соскальзывает.

Нет.

Это слово не в голове, оно в горле, оно застряло как кость. Я не хочу. Я НЕ ХОЧУ. Ветер рвёт куртку. Земля не ждёт, она стремительно налетает снизу, она не красивая, она просто твёрдая. Я понял, я всё понял, верните меня на три секунды назад, просто на три секунды, я закрою дверь на крышу, я сяду на лифт, я обниму Мэй, я...

Подошва нашла бетон снова. Не удача, не чудо — просто миллиметр веса, перенесённый чуть раньше, чем нужно было для падения, чуть позже, чем нужно было для полной уверенности. Я упал не вперёд, а назад, на площадку, на колени, и остался так, вцепившись пальцами в холодный бетон, точно он мог убежать из-под меня так же, как чуть не убежала земля секунду назад.

Не знаю, сколько я так простоял на коленях. Достаточно долго, чтобы дождь успел промочить куртку насквозь. Достаточно долго, чтобы ветер перестал казаться врагом и снова стал просто ветром — тем самым, который пахнет океаном и хвоей одновременно, тем самым, который я любил всю жизнь и чуть не разучился любить за один единственный день.

Телефон в кармане завибрировал снова. Впервые за весь вечер вытащил его и посмотрел. Не сообщение из чата. Сообщение от тебя, Мэй: «Ты где? Уроки ждут:) не забыл про уравнения?» — с той самой глупой улыбающейся мордочкой, которую ты ставишь после каждого сообщения, даже когда пишешь про домашку.

Я не нажимал кнопку отмены. Кнопки отмены не существует — я понял это стоя на коленях на мокром бетоне сорок пятого этажа. Есть только следующий шаг, который можно сделать в любую сторону, и я сделал его в сторону лифта.

Спуск занял, наверное, три минуты — служебный лифт, пахнувший машинным маслом и чужими сигаретами, зеркало в углу кабины, в котором я не узнал себя: мокрые волосы прилипли ко лбу, глаза красные, куртка потемнела от воды почти до черноты. Вышел через тот же служебный выход, которым вошёл, и охранник на ресепшене, даже не поднявший на меня взгляд полчаса назад, теперь посмотрел внимательнее — может быть, потому что выглядел я так, будто попал под ливень посреди относительно сухого вечера. Он ничего не спросил. Я — ничего не объяснил. Просто вышел на улицу, где дождь уже почти прекратился, оставив после себя тот самый запах мокрой коры и океана, с которого началось это утро.

Домой не поехал на автобусе. Шёл — медленно, без всякой спешки, той дорогой вдоль Фолс-Крика, которой шёл сюда несколько часов назад, только теперь марина, мост, кофейня с запахом корицы казались совсем другими местами — их словно успели за это время переставить местами и заново выкрасить. У кофейни всё-таки зашёл и купил себе горячий шоколад — тот самый, о котором думал на краю крыши, — и выпил его на ходу, обжигая губы, чувствуя, как тепло расходится по груди туда же, где весь день сидел холодный камень стыда.

Дома пахло имбирём и рисом — мама готовила ужин так, точно сегодняшний день был обычным вторником. Ты сидела за кухонным столом с открытым учебником, и когда я вошёл, посмотрела на меня с укором, но без подозрения: «Ты опоздал на два часа. Я уже сама разобралась с уравнениями, но всё равно неправильно, наверное». Сел напротив тебя, всё ещё мокрый, всё ещё с привкусом шоколада на губах: «Покажи, где застряла». Мы просидели над тетрадью двадцать минут, и ни разу за эти двадцать минут я не подумал ни про чат, ни про крышу. Только про х и у, которые наконец сошлись в правильном ответе.

Позже вечером, когда ты уже легла спать, мама зашла ко мне в комнату — редкость, обычно она стучит и сразу уходит, оставив что-то на столе. В этот раз она села на край кровати и долго молчала, глядя не на меня, а в окно, на дождь, который снова начался. «Ты сегодня какой-то другой», — сказала она наконец, не вопросом, а утверждением, будто ждала, что я сам решу, продолжать этот разговор или нет. Про крышу не рассказал. Не в тот вечер — может быть, никогда, а может быть, через годы, когда боль перестанет быть такой сырой, что от одного взгляда на неё хочется зажмуриться. Но я сказал ей то, что было правдой хотя бы наполовину: что день был тяжёлым, что в школе случилось что-то неприятное, что мне нужно было побыть одному. Она не стала цитировать сутры. Она просто взяла мою руку — ту самую, которая несколько часов назад мёрзла на бетоне сорок пятого этажа, — и подержала её молча, дольше, чем обычно держат руку просто чтобы пожелать спокойной ночи.

Отец в тот вечер постучал в дверь один раз, заглянул, увидел, что я жив, здоров и делаю уроки, и сказал только: «Ужин остывает». Это была не та сцена признания, которую показывала мне тень там, наверху, — не «неплохо» за исправленную оценку, не смех за калгарийским столом. Просто дверь, приоткрытая на секунду, и голос, напоминающий про ужин. Но в ту ночь даже это простое, будничное «ужин остывает» прозвучало для меня иначе, чем вчера. Не как измерительная линейка. Просто как то, что отец, при всей своей неспособности сказать что-то теплее, всё-таки заглянул проверить, где я.

* * *

Если бы ты спросила меня, вернулся бы я снова к тому же краю с тем же намерением, — нет. Даже не знаю, как объяснить почему. Просто тело как будто знало раньше меня, что назад — это не один из вариантов. Это единственный вариант. Жалко, что до меня это дошло только за миллиметр до края, а не раньше.

Шум падающих листьев никто не запоминает — так я думал там, наверху, представляя своё собственное молчаливое исчезновение. Сейчас я думаю иначе. Листья падают не для того, чтобы их запомнили. Они падают, чтобы дерево пережило зиму и весной снова покрылось новыми.

P. S.

Мэй, я не отправлю тебе это письмо. Допишу его сегодня ночью, сохраню в заметках телефона и, наверное, никогда больше не открою — не потому, что стыжусь того, что здесь написано, а потому что оно нужно было не тебе. Оно было нужно мне, чтобы наконец-то честно поговорить с собой, раз уж говорить с кем-то другим в тот вечер я не смог.

Я хотел бы сказать, что после сегодняшнего дня всё стало легче. Не стало. Понедельник в школе будет тяжёлым — я уже это знаю, чат никуда не делся, слово, которым меня называли, кто-то произнесёт снова, и мне снова будет больно. Но я знаю теперь то, чего не знал утром: что боль имеет срок годности, даже когда кажется бессрочной, и что рука, которая держит мою

руку в метро, стоит больше, чем сорок два человека, забывающих чужой позор быстрее, чем помнят свой собственный.

Спасибо, что просила меня не отпускать. В следующий раз я отвечу сразу.

Разрыв струны

I. Фасад и плесень

Отец,

ты никогда не читаешь письма целиком — я помню это с детства: ты просматриваешь первый абзац, потом сразу переходишь к последнему, будто содержание середины можно восстановить логически, зная начало и конец, как восстанавливают утраченную главу проповеди по вступлению и по «аминь». В этот раз, пожалуйста, прочти всё. Это единственная просьба, с которой я когда-либо обращался к тебе напрямую, минуя мать, минуя воскресную службу, минуя все те посреднические инстанции, через которые в нашей семье принято передавать друг другу то, что действительно важно.

Берлин сегодня серый — не тот драматический, киношный серый, который любят снимать туристы у Стены, а обычный, будничный, ноябрьский серый, в котором просто существуешь, не замечая цвета неба, потому что он не меняется неделями. Квартиру снимаю в Нойкёльне, на пятом этаже без лифта, окнами во двор, где по вечерам кто-то играет на трубе — не хорошо, но упорно, каждый день одну и ту же гамму, будто верит, что повторение само по себе является формой прогресса. Слушаю эту трубу почти каждый вечер последние два года и ни разу не узнал, кто играет. Возможно, потому что мне комфортнее с анонимной трубой за окном, чем с любым конкретным человеком за дверью.

Двор у нас типично берлинский — четыре стены разной высоты, сложенные в разные эпохи, с бельевыми верёвками между окнами и одним чахлым каштаном в центре, который каждую осень роняет листья точно на подоконник фрау Ковальски с третьего этажа, отчего она каждый год примерно в это же время выходит и громко жалуется дворнику, хотя дворник, по моему, давно уже не работает в этом доме. Этих людей я знаю по звукам и силуэтам в окнах гораздо лучше, чем по именам — так же, как знал прихожан твоей общины по их воскресным лицам гораздо лучше, чем по их будничной правде.

Ты бы сказал, что это симптом. Ты вообще любишь это слово — симптом, — оно позволяет тебе оставаться диагностом чужих жизней, не подвергая сомнению собственную. Что ж, вот тебе диагноз, отец: мне двадцать четыре года, я документалист, потративший последние шесть лет на попытки поймать камерой голую правду о чужих жизнях, и я не способен просидеть больше трёх месяцев ни с одним человеком, который начинает узнавать меня по-настоящему. Не потому что я не хочу близости. Потому что я боюсь того момента, когда близость обнажит во мне то, что я давно подозреваю и давно пытаюсь опровергнуть камерой, направленной куда угодно, только не на себя: что я — твоя копия, просто в другой упаковке.

Начну с самого начала, потому что ты просил меня однажды, много лет назад, во время одной из твоих воскресных проповедей о честности перед Богом и близкими, «говорить прямо, без экивоков». Хорошо. Слушай прямо.

Мать выросла не в церковной семье — я узнал это только в подростковом возрасте, случайно, из разговора бабушки с тётей на очередном семейном ужине. До встречи с тобой она изучала историю искусств в Мюнхене, писала курсовую о фламандской живописи, мечтала, по словам бабушки, работать куратором в музее. Ты, тогда молодой, харизматичный, только начинавший карьеру в приходе, покорила её — не столько верой, сколько уверенностью, той самой отработанной, безупречной уверенностью, которая позже стала твоим главным инструментом с кафедр. Она бросила университет на последнем курсе, чтобы выйти за тебя замуж и

«служить общине вместе», как формулировала это бабушка с той интонацией, которая давала понять: сама она этого решения так и не одобрила до конца.

Иногда я думаю, что где-то в глубине шкафа в родительской спальне до сих пор лежит та самая недописанная курсовая о фламандцах, и что мать иногда, оставшись одна днём, пока мы с тобой были на службе, доставала её и перечитывала — не с сожалением, может быть, а просто чтобы вспомнить, что когда-то была версия её самой, у которой были собственные мысли о живописи, а не только заготовленная улыбка для прихожан.

Мне было девять лет, и это был обычный воскресный обед — белая скатерть, та самая, вышитая бабушкой, которую мать доставала только по воскресеньям и по большим праздникам, будто повседневность недостаточно достойна такой красоты. Ты сидел во главе стола и читал благодарственную молитву — длинную, с отсылками к посланиям апостола Павла, ровно ту, что читаешь каждой общине каждое воскресенье с кафедры, и голос твой в тот момент был инструментом такой убедительности, что даже я, девятилетний, чувствовавший в животе странное несоответствие между этим голосом и тем, что происходило дома в будни, на секунду поверил, что всё в порядке. Мать сидела напротив, сложив руки, склонив голову, и я видел — краем глаза, снизу, оттуда, где сидит ребёнок, — как её пальцы под столом медленно, судорожно сжимают чайную ложку, будто пытаются согнуть металл голыми руками. Ложка потом действительно оказалась немного погнутой. Никто, кроме меня, этого не заметил. Не знал тогда, что именно заставляло её сжимать эту ложку так сильно во время твоей молитвы о благодарности за семейный очаг. Узнал через пять лет.

Мне было четырнадцать, поздний вечер, и я не мог уснуть — возможно, из-за грозы, возможно, просто из-за того подросткового бодрствования, которое накатывает без причины. Твой ноутбук остался открытым в кабинете, экран светился в тёмной комнате как единственный источник света во всём доме, и я зашёл — не шпионить, просто посмотреть, не забыл ли ты его выключить, как всегда просишь нас делать со светом. Экран показывал переписку. Не рабочую. С участником хора нашего прихода — женщиной, чьё имя я не буду здесь писать, потому что оно и так слишком долго занимало пространство в моей голове. Слова там были не те, что произносишь с кафедры. Стоял в тёмном кабинете, четырнадцатилетний, и читал строки, которые превращали двадцать лет воскресных проповедей о верности в надпись на песке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.